

В. А. Зверев, К. Е. Зверева

**ДЕТСТВО И ШКОЛА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СИБИРСКОГО СЕЛА НАЧАЛА XX в. (ВОСПОМИНАНИЯ Ф. Д.
ОСТАНИНА)**

Опубликовано: Зверев, В. А. Детство и школа в социокультурном пространстве сибирского села начала XX в. (воспоминания Ф. Д. Останина) / В. А. Зверев, К. Е. Зверева // Актуальные вопросы истории Сибири XVII–XX вв. : темат. сб. науч. тр. / отв. ред. С. В. Кушченко. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. техн. ун-та, 2008. – Вып. 3. – С. 113–131.

Уже не менее полутора столетий российская общественность осмысливает и обсуждает социокультурную роль деревенской школы, приходя к выводу о том, что роль эту невозможно переоценить.

«Открытие каждой школы есть праздник для страны...», – нетривиально по форме и вполне определенно по существу высказался в свое время (1900 г.) известный общественный деятель Сибири Н. Л. Скалозубов [13, с. 146]. И сегодня хорошо знающие предмет обсуждения сельские учителя, деятели местного самоуправления говорят о том же: «В селе всегда школа является основным элементом его развития»; «Сельская школа занимает особое место в социальной, культурной жизни села. Это не только “храм науки”, “очаг культуры”, как принято говорить, но нечто большее. Именно здесь рождаются и укрепляются истоки нравственности, человеколюбия, уважения к труду» [17, с. 28, 82]. Последовательно отстаивающий интересы школы в органах управления Российской Федерации депутат Государственной думы пяти созывов, первый заместитель председателя комитета Думы по образованию и науке, председатель общественного движения «Образование – для всех» О. Н. Смолин выражает мнение многих соотечественников: «Вопрос о современном состоянии и перспективах развития сельской школы – вопрос национальной безопасности нашей страны. [...] Считаю, что в большинстве случаев закрытие сельской школы – это, как минимум,

моральное преступление. Ни для кого не секрет: когда исчезает сельская школа – исчезает село, когда исчезает село – наша страна превращается в огромную, но безлюдную территорию» [17, с. 86]. Тем не менее, малокомплектные деревенские школы сейчас закрываются одна за другой...

Необходимо переломить указанную неблагоприятную тенденцию, и определенную роль здесь может сыграть историческая наука. Ученые давно и плодотворно изучают историю образования в России, в частности, историю развития школьного дела в русской деревне, но вопрос о месте и роли школы в сельском социуме и народной культуре, будучи непростым для изучения в методологическом отношении, требующий междисциплинарного подхода, разработан недостаточно. В изданной в 1983 г. обобщающей, этапной коллективной монографии по истории крестьянства Сибири второй половины XIX – начала XX в. соответствующая проблематика была намечена. В разделе «Народное образование» констатировалась «безотрадная в целом картина сельской школы», но отмечались следующие факты: усиливающаяся тяга крестьян-сибиряков к грамотности и рост у них потребности в чтении; отрицательное, по причине роста атеизма, отношение сельчан к церковно-приходским школам (их стремились заменить «министерскими»); наличие сел, где жители по собственной инициативе помогали школе; присутствие среди учителей «передовых для своего времени» людей, которые вели большую просветительскую работу среди населения и, вместе с политическими ссыльными, являлись первыми пропагандистами марксизма в сибирской деревне [7, с. 327–333]. Позже появились работы, характеризующие возраставшее во второй половине XIX – начале XX в. влияние школы на социализацию (прежде всего – на образование) подрастающих поколений сельчан-сибиряков [1, с. 188–201; 4; и др.], желание передовых крестьян усовершенствовать школьное дело в деревне [8 и др.], некоторые иные аспекты темы «Крестьянство Сибири и деревенская школа». Однако имеющиеся наработки не позволяют все же считать решенными более общие вопросы о том, какую роль (в сравнении с

иными агентами и институтами) играли школа и учительство на начальном этапе социокультурной модернизации сибирской деревни; как сочетались разные каналы и формы взаимовлияния школы и крестьянского социума в Сибири; как выглядели результаты этого взаимовлияния на рубеже XIX–XX вв. Такого рода вопросы нуждаются в комплексной постановке и целенаправленном рассмотрении.

Кроме социальной истории, в науке существует и другое предметное поле, в рамках которого можно рассматривать интересующую нас проблему. Это историко-этнографические и этнопедагогические исследования «истории и этнографии детства». Российские этнографы и этнопедагоги, работающие на материалах Сибири досоветской эпохи, на наш взгляд, сконцентрированы на изучении традиционных институтов социализации деревенской молодежи (крестьянская община, семья и пр.). Однако следует учитывать, что в процессе становления индустриального общества значение традиционных институтов снижается, сами эти институты трансформируются, повышается роль государства и социально-организованного, планового начала социализации, предусматривающего использование для социализации детей и молодежи средств массовой коммуникации и особенно школы [5, с. 177–179]. Как крестьянская семья и община в Сибири на рубеже XIX–XX вв. строили свои отношения с государственной, церковной и частной школой по поводу воспитания и обучения детей? Как формировалось распределение социализирующих функций между «старыми», традиционными и «новыми» институтами социализации, к числу которых прежде всего принадлежала школа? Как крестьянские дети воспринимали, «переживали» и перерабатывали в своем сознании очевидные противоречия между традиционными, часто иррациональными «родительскими» трактовками миропорядка и знаниями рационального, научного характера, основы которых преподавались в школе? Вот только некоторые вопросы, перспективные для научной разработки.

Исследование обозначенной здесь проблематики нуждается, между прочим, в выявлении и анализе имеющейся источниковой базы. В нее непременно должны войти, в частности, письменные и устные источники личного происхождения. Важное место здесь должны занять воспоминания сибиряков и бывших сибиряков о своем детстве, прошедшем в селениях региона во второй половине XIX – начале XX в. и включавшем в себя опыт обучения в деревенской школе. Специалистам известны давно опубликованные мемуары такого рода, принадлежащие перу московского купца Н. М. Чукмалдина [16], алтайского крестьянина С. П. Титова (отца второго советского космонавта) [14], столичного кинематографиста И. Г. Ростовцева [12] и др. В архивохранилищах Восточной Сибири нами выявлены и затем напечатаны воспоминания приенисейского крестьянина М. И. Пальмина и иркутской учительницы А. В. Трифоновой [6, с. 70–72, 75–80]. Опубликованы также записанные в 1980-х гг. студентами исторического факультета НГПУ воспоминания жителей Западной Сибири, учившихся в начальной школе на заре XX столетия – А. М. Михалёвой [15, с. 97–102], А. М. Лушниковой и Ф. С. Глухих [6, с. 30–32, 72–75].

В круг интереснейших исторических источников мемуарного характера, несомненно, входят и воспоминания Ф. Д. Останина, значительная часть которых посвящена деревенскому школьному детству.

Федор Дмитриевич Останин родился в 1899 г. в переселенческом селении Сидоровском (Сидорка) Барнаульского уезда Томской губернии, – сейчас это с. Сидоровка Романовского района Алтайского края. По воле родителей он в 1907 г. приобщился к грамоте в церковно-приходской школе в родной деревне. В 1911–1914 гг. продолжил образование в волостном селе Романовском, где располагалось ближайшее двухклассное училище Министерства народного просвещения. Старательный, толковый и целеустремленный юноша затем, с 1915 г., обучался в Новониколаевской учительской семинарии. В годы гражданской войны участвовал в партизанском антиколчаковском движении. В 1919–1926 гг. работал

учителем в сельском школе на Алтае, инспектором-методистом Каменского районного отдела народного образования. Позже сменил профессию, и после окончания Промышленного института в Иркутске до выхода на пенсию трудился инженером-строителем.

Подробные мемуары автобиографического характера, фрагмент из которых мы здесь публикуем, были написаны Федором Дмитриевичем в 1972–1973 гг. в несколько приемов по просьбе сотрудников сектора культурного строительства Института истории, филологии и философии СО АН СССР, напечатаны на пишущей машинке и присланы в Новосибирск по почте. Некоторые фрагменты этого источника были позже опубликованы историками [2; 3; 6, с. 80–90; 9–11]. Представленный здесь отрывок из мемуаров публикуется впервые. Он посвящен описанию родного села и ближайшего родственного и социального окружения автора в период 1907–1911 гг., накануне и в годы его обучения в Сидоровской церковно-приходской школе. Отрывок входит в начальную часть раздела, открывающего воспоминания, имеющего авторскую нумерацию и название: «1. Деревня». Далее в этом разделе автор повествует о своей учебе в Романовской школе и последующей недолгой работе помощником волостного писаря.

При подготовке фрагмента источника к публикации нами сделаны в нем купюры с целью сокращения объема, исправлены явные опечатки (впрочем, их было немного), поправлены орфография и пунктуация. Местами сделана новая разбивка текста на абзацы – для удобства чтения.

История – вечно живая память народа

[г. Алма-Ата]

[Не позже 24 апреля 1972 г.]

[...]

Там, где сходились впоследствии три уезда – Каменский, Славгородский и Барнаульский, в самом уголке Кулундинских степей стоит, очевидно, и

сейчас село Сидорка. Возникло оно ... во второй половине XIX [столетия] и в начале XX века [развивалось] за счет переселенцев из [Европейской] России, особенно с Украины и Поволжья. Расположилось оно по обоим берегам маленькой речушки с крутыми глинистыми берегами, исцарапанными сверху донизу дождевыми и вешними водами. [...]

Первые улицы вдоль реки растянулись на несколько верст, параллельно застраивались новые. Деревянным, из бревен, пятистенникам под тесом не уступали беленькие украинские, с аккуратными соломенными крышами, хатки. Село богатело. Много разводили скота: коров, овец, лошадей. Обилие нетронутых земель, всевозможных угодий вызвало огромный азарт у трудолюбивых, упорных, знающих толк в сельском хозяйстве переселенцев, особенно украинцев. Появились излишки хлеба. И потянулись бесконечные обозы с мясом, зерном, кожсырьем в Камень (тогда пристань на Оби), в Шелаболиху, в Барнаул. Появились местные купцы – Калетин и Кононов, построившие лавочки на берегу реки. Один обслуживал одну заречную сторону, другой – другую.

Уже в 1903–[19]04 гг. была построена своя церковь в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Надоело мужикам за каждой «святой» надобностью ездить за 15 верст в село Камышенку ... к чужому попу – обзавелись своей церковью и собственным попом. Моя бабушка Пелагея Егоровна рассказывала мне ... что, когда в день «освящения храма» ... в день 8-го сентября (с[тарого] ст[иля]) первый раз «затрезвонил» Петрушка, ее троюродный племянник, так казалось, «будто благодать Господня сошла на деревню. Народушку привалило к церкви, попов штук десять – все в ризах, иконы, хоругви болтаются, певчие поют, – ну, ни дать ни взять рай небесный отрылся. Старухи и женщины плачут, старики крестятся. Вот и тебя, сударик, в то воскресенье я поведу в церкву». [...]

К 1910 году село наше обзавелось и своей собственной волостью – оно стало волостным селом, появилась Сидоровская волость из одного села всего. А до этого оно было [в составе] и Тюменцевской, и Баевской, и

Завьяловской волости. Появилось новое деревянное здание под зеленой железной кровлей, с большими окнами, с канцелярией в две комнаты, общим залом, комнатой для сторожа и двумя «каталажками» – мужской и женской (единственный признак «равноправия» того времени). Появился волостной писарь – фигура, резко выделяющаяся среди общего деревенского фона костюмом, походкой и речью, похожей на городскую. Избрали и старшину – богатого выходца с Украины Лепеху Иова Григорьевича, крупного, осанистого мужичка лет 50-ти с холеной седой бородой, расчесанной на две стороны, и картавящего на букву «р». Все это делало его непохожим на обычного деревенского мужика и вызывало к нему какое-то особое отношение, далекое от симпатии. Имя этого человека для меня осталось на всю жизнь ненавистным.

В это село мой дед с большой семьей прибыл из Оренбургской губернии в конце восьмидесятых годов прошлого [XIX] столетия. Семья считалась средних размеров – семь человек: четыре сына и три дочери. По словам отца, дед мой Артемий происходил из старообрядческой семьи, предки которой бежали на Урал из [Европейской] России во времена известных [религиозных] преследований. Сам дед и вся его семья давно утратили всякий старообрядческий налет и ничем не отличались от обычных «верующих», были в меру религиозны, а мой отец (второй сын деда) и два моих дяди были настоящими атеистами. Не верили ни в бога, ни в черта, хотя были совершенно неграмотны.

Это были вековечные, потомственные крестьяне, сформировавшиеся в условиях полунатурального хозяйства. Они целиком зависели от земли, но умели сделать все сами: они могли выделать кожу для обуви, сделать великолепные овчины, они могли и плотничать, и сапожничать. А женщины могли сами произвести и тонкие кружева, и вышивки, любую полотняную ткань для одежды, вплоть до сукна. Этим определялся и наполнялся весь уклад и распорядок крестьянской деревенской жизни.

Где-то в начале [18]90-х годов отец мой был призван на действительную

военную службу. Служили тогда «царю батюшке» довольно долго – около 5 и более лет. С военной службы отец пришел с поврежденной правой ногой, слегка прихрамывал, но ходил вполне нормально. На каких-то физических занятиях, на брусьях он упал и повредил бедра сустав правой ноги. Очень долго лежал в лазарете. И эта случайность исключительно благоприятно отразилась на всей его дальнейшей жизни.

На военную службу он уходил совершенно неграмотный. В лазарете, совершенно случайно, сестра милосердия начала его учить читать и писать. И он овладел этим «искусством» настолько, что стал писать сам домой письма, свободно читать книгу и, более того, он овладел «всеми четырьмя правилами арифметики», о чем он всегда впоследствии говорил с особой гордостью. В дальнейшем я всю свою сознательную жизнь поражаюсь: как же эти ничтожно малые крохи грамотности отразились на судьбе деревенского парня и даже его детей! Какая же это могучая сила – даже самая элементарная грамотность! До прихода его домой уже вся почти деревня знала: Митрий в солдатах научился читать и писать (?!). Конечно же, это было тогда достойно удивления и зависти.

Возвратившись с военной службы, отец женился. Старший и средний его братья уже были женаты, имели детей. Семья разрослась. Ему помогли построить маленькую избушку, пристроили [к ней] кухню и сени, и он стал жить да поживать самостоятельно. У него уже было трое детей, – я был третьим ребенком. Конечно, нужно было приниматься за исконно привычное дело крестьянское, оно хотя и трудное, но ... родное. И стал он в меру сил и возможностей крестьянствовать. Но мужики односельчане знали, что «он грамотный», и как-то на сельской «сходке» обратились к нему с просьбой: зимой учить ребят. Они «откупят» горницу у Кузьмы Тихонова, будут покупать буквари и бумагу, карандаши, ему будут платить десять рублей в месяц. И стал мой отец первым сельским «учителем» в Сидорке.

Сейчас это вызывает чувство священного благоговения и перед мужиками, и, конечно же, перед учителем. Очевидно, такая «школа» в ...

сибирских деревнях была не единственной, но они никем не учитывались и не контролировались: неограниченная самостоятельность и свобода действий. Церкви еще не было и попа, конечно, – закону Божию учить ребят некому. Но необходимый «комплект» самых обиходных и «практически» необходимых молитв отец знал, ребята учили молитвы и пели. Мужики были в восторге от учителя.

Мне было тогда около 4-х лет. Помню, с каким огромным интересом я слушал вечерами у нас за столом рассказы отца о занятиях в школе, о ребятах; еще с большим интересом я рассматривал тетради ребят с «палочками», крючками, какими-то завитушками: это было поразительно ново, необычно! Вероятно, с тех пор я проникся огромным уважением к отцу и привязанностью: он чем-то отличался от знакомых мне мужиков, – именно казалось, что мой отец «лучше всех». И знакомое мне с раннего детства чувство гордости за него не покидало меня всю жизнь. Попутно надо отметить, что и я у него до конца его жизни был любимцем.

Шла русско-японская война. На войне были младший брат отца Константин и второй брат матери. Обе бабушки каждый вечер прибегали к отцу за новостями: он брал газету у купца-соседа Калетина Матвея Никифоровича и читал вечерами вслух, конечно, с «комментариями». Вечера эти остались незабываемы.

Закончилась война, миновали «беспорядки» и «забастовки против царя», в сибирских деревушках, подобных нашей, все это прозвучало отдаленным замирающим эхом. Ждали возвращения из армии солдат нашей деревни. Бабушка Пелагея получила похоронную на сына. [...] А в октябре, по первому снегу, снова событие: прибыл из плена японского брат отца – Константин. Событие это, оказывается, было волнующим и знаменательным не только для близких родных, но и для всей деревни.

Во двор Артемьевых собралась почти вся деревня. Каждый приветствовал дядю, обнимал и троекратно целовал. И мужчины, и женщины. Представили и меня дяде. Он взял меня на руки, поцеловал,

приласкал и дал длинную конфету с кистями бумажными на обоих концах и по всей длине обвитую золотой полоской. Я был рад и взволнован до слез: ведь я в своей крошечной жизни впервые видел солдата, а он мой дядя, который воевал с японцами (я видел эти сражения на картинах, купленных в лавке Калетина за 3 коп.), был в плену. Плен я себе совершенно не представлял, но был убежден, что это что-то несказанно страшное.

А вечером того же дня, когда в нашей маленькой горенке собралась вся родня чествовать высокого гостя, произошел незначительный случай, отразившийся на всей моей жизни. Гости сидели за двумя столами, на столе – угощение и бутылка водки. Дядя сидел в почетном «переднем» углу, рядом с ним – его жена, а с другой стороны – мать, моя бабушка Катя. Я не сводил с него глаз, сидя с сестренкой и старшим братом на кровати, вне застольной кампании. Все слушали, а он степенно рассказывал такие вещи, от которых у меня «дух захватывало». Оказывается, японцы умеют очень хорошо воевать. У них имелись пулеметы, а у нас кроме винтовок – ничего. Наших погибало в сражениях больше, чем японцев. Они хорошие моряки, и у них много военных пароходов. Мне все это не нравилось: я ожидал другого, я был убежден ... у нас должно быть лучше, чем у них, всё-всё, и наши побили их больше, чем они, – ведь мы же русские, а они что? Детский патриотизм не признавал ничего иного.

Но дядя продолжал беспощадный рассказ. Оказывается, сам он получил три ранения. Последнее – особенно опасное. В плен попал в осажденном «нашем» городе Порт-Артуре, находясь в лазарете: город японцы взяли, а всех наших солдат, что были в городе – здоровых и больных – взяли в плен, увезли на пароходах к себе в Японию. Это было совершенно несовместимо с моими детскими представлениями о непобедимости нашей русской армии. И о Японии дядя рассказывает не так, как бы мне хотелось. Уж очень он хвалит и Японию, и самих японцев: что они очень честный народ, приветливый, внимательный, знающий. «Если бы, – говорит он, – меня не увезли японцы к себе в Японию и не положили бы в свой военный лазарет, я после третьего

своего ранения не выжил бы. Японские врачи меня не только вылечили, но и вернули мне здоровье».

Да, моему национальному, патриотическому чувству был нанесен первый и очень тяжелый удар, детская логика не хотела признавать факты. Даже, кажется, и образ дяди как-то померк, и авторитет «пошатнулся».

И вдруг он, [дядя Константин], опять предстал в ином виде и свете. Как только все собрались, заняли места за столом, отец разлил водку по рюмкам и самую большую, граненую преподнес дяде – дорогому гостю. Дядя смущенно улыбнулся и отстранил рюмку, сказал: «Нет, Митя, мне не надо – я совсем не пью водку. И не пил». Бабушка приподнялась, обняла его за шею, целует в голову и говорит: «Милый сынок, как же был бы рад отец Артемий Иванович, если бы он дожил до этой минуты». В глазах у бабушки блестели слезы невыразимого счастья.

И, кажется, никто из присутствующих не обратил на это особого внимания; некоторая заминка, вызванная этим эпизодом, быстро исчезла, все взяли свои рюмки, сказали гостю положенные ритуалом слова и пили, крякая и поглаживая усы. Все входило в положенное русло – пили, захмелели, зашумели. Дядя весело улыбался, говорил, шутил, но был особый, ни на кого из присутствующих не похожий. Мать моя и бабушка очень не любили табачного дыма, – гости в одиночку и парами выходили в сени курить. Отец мой тоже изредка покуривал, поэтому тоже принимал участие и сейчас с гостями. Дядя – не курил. Все это было очень заметно, выделяло его среди присутствующих, но ничего ошеломляющего не производило: обычное крестьянское застолье. Но впечатления этого вечера отразились на моей жизни весьма знаменательно: с того, очевидно, вечера и до сегодняшнего дня я презираю водку, за всю свою жизнь я не узнал вкуса водки и ничего спиртного.

Я не могу представить себе состояния пьяного человека. Более того, я остался на всю жизнь ЯРЫМ, НЕПРИМИРИМЫМ, бескомпромиссным врагом водки и всего алкогольного: презираю не только содержимое, но и

посуду, в которой распространяются «напитки радости». И не «согрешил» ни одной папироской за всю жизнь. Говорю об этом не из нескромного и примитивного чувства, [чтобы] порисоваться, а потому, чтобы лишний раз признаться с гордостью и откровенно: как же безмерно я был СЧАСТЛИВ всю свою жизнь, не зная над собой власти этих унижительных ... пороков, добровольно и настойчиво культивируемых самим человеком. И если я этим обязан примеру простого, неграмотного деревенского парня, моего дяди Константина, то пусть же будет имя его вечно символом счастливого благополучия моих детей и внуков. Он остался на всю жизнь моим любимцем.

Мне исключительно приятно отметить еще одну особенность моих отца и дяди: никогда я, да и никто из окружающих, не слышали от них омерзительной, похабной «русской» брани. А ведь в языковом обиходе деревни мат и два-три похабных слова были (пожалуй, и есть) вполне достаточным лексиконом для объяснения в любых случаях и по любому поводу. Мне всегда, везде и всюду было стыдно до сердечной боли от этой унижительно позорной, обнаженно бесстыдной, отвратительной «национальной» особенности великого русского языка. Поражаюсь, не могу понять, – как она могла появиться, существовать тысячелетия, процветать в наши дни! Здоровому уму – непостижимо! [...]

Отец мой проучительствовал около четырех лет. Уже заканчивалось строительство церкви, а около нее – небольшого домика в две комнаты: одна обширная, другая маленькая, для церковного сторожа. Большая комната предназначалась для школы. У отца появились знакомые. Это были – сельский писарь, старичок, по национальности еврей, всегда жаловавшийся на свою судьбу – на то, что его несправедливо сослали в Сибирь на 5 лет, на старости лет оторвали от семьи. Старик был ласковый, у нас с ним завязалась дружба. Потом – маслодельный мастер Федор Иванович Кузьменко с маслодельного завода купца Калетина. Завод этот в деревне называли просто «молоканкой». [...] Заходили к нему, [к отцу], и сыновья купца Кононова.

Это были очень веселые и интересные парни: один из них хорошо играл на скрипке, другой – на гармонии «двухрядке», быстро ездил на велосипеде, это был кумир всех деревенских ребятишек. Но и не только ребятишек. Он, Петр Петрович, организовал свой оркестр, в котором были и барабан, и «медные тарелки», и металлический треугольник. В праздничный день оркестр устраивался на балкончике обширной пристройки к магазину на берегу реки и для удовольствия собравшейся публики играл весь вечер. Местные плясуны до «седьмого пота» показывали свое искусство. [...] Братья Кононовы приходились [моему] отцу не только земляками, но и товарищами, а один из братьев отца был женат на их сестре.

Таково создалось окружение вокруг моего отца как раз в предшкольный мой период. Каждая из этих персон чем-то для меня была интересна и значительна. Мои симпатии часто и резко колебались между ними. Особенно неприятен мне был Ф. И. Кузьменко... Он стал заходить к нам каждый вечер и что-то жарко доказывать отцу. Как я понял его, он стал уговаривать отца бросить занятия с ребятами: «Вот ... при церкви построили помещение для школы. Появился уже молодой поп, он сам ... и будет заниматься с ребятами. Ведь ты же ... малограмотный. Или дадут настоящего учителя. А дело есть лучше, интереснее. Братья Калетины делятся, старший уезжает в Камень на жительство, там хочет открыть свое дело. А младший, Афанасий, остается здесь. За ним остается лавочка. Старший же, Матвей, хочет получить свою долю деньгами. В связи с этим они продают свой маслодельный завод, и недорого. А кто купит? Конечно, Кононов купит, ему он мешал и мешает. Купит и будет тогда один «обдирать» мужиков, как ему вздумается. Надо уговорить общество купить завод, сделать его артельным. Ведь молока много пропадает в хозяйствах, свиней кормят молоком, а в городе цены на масло растут. Сами будем производить масло, сами продавать, покупать необходимые народу товары, деньгами рассчитываться за молоко. Мужики поймут выгоду. Давай, организуем артель маслодельную».

Не одну неделю ходили они по дворам, уговаривали мужиков,

записывали в «артельщики». Почти вся наша заречная сторона записалась. Собрали деньги, купили завод, выбрали «доверенного», – им оказался отец. Мать была против этой затеи: она боялась новизны и громоздкости дела, особенно на первых порах, всё ее пугало. Я, конечно, сочувствовал матери и возненавидел Кузьменко. А он стал почти завсегдаем у нас. Они что-то писали, считали с отцом и радовались.

[...]

Да, много тревоги принес нашей семье этот период пребывания отца руководителем артели. Наш дворик превратился в место, где всегда были люди – прихожие и приезжие: получить заказанный товар, получить расчет за молоко, за извоз. Отец был занят с утра и до вечера. Я сейчас думаю и поражаюсь: как мог и успевал полуграмотный мужик посчитать по специальным книжечкам «сдатчиков молока», сколько пудов молока сдал артельщик, сколько ему причитается получить деньгами, кроме взятых товаров. И не припомню я ни конфликтов, ни недовольствий. Без счетовода или бухгалтера – весь учет и отчетность вел мужик, усвоивший когда-то «все четыре правила арифметики». Ни растрат, ни потерь, ни утрусок, ни раструсок.

Период этой кооперативной деятельности отца определяется примерно около 6 лет, с 1905 по 1911 год. За это время уже возникла волость, нормально работала в церковной сторожке школа, так и названная – церковно-приходская школа. Она уже официально числилась в Томском епархиальном ведомстве и снабжалась им книгами, частично – тетрадями и карандашами. Учителем в ней тоже местный мужичок, прибывший из Курской губернии, более грамотный, чем мой отец: он знал весь «порядок» церковной службы и исполнял одновременно обязанности псаломщика при церкви. Мой старший брат уже третий год ходил в эту школу, да и мне пришлось время идти туда же.

В 1907 году мне исполнилось 8 лет... Я уже знал учителя, и он меня [знал], так как не раз приходил к отцу побеседовать вечерком. Это был

типичный деревенский мужичок лет 35, совершенно лысый, с лопатообразной рыжей бородой, голубыми глазами. Был он, очевидно, веселого нрава, так как очень искренне и «смачно» хохотал даже в таких случаях, когда совсем не было смешно. Был очень религиозен и очень любил выпить. Даже в школу на занятия приходил иногда в весьма нетрезвом виде. Звали его Осип Прохорович Старцев.

Этому мужичку, несмотря ни на что, в [19]14–[19]15 гг. удалось выдержать экзамен при Барнаульском духовном училище на звание учителя церковно-приходской школы. Немедленно [он] изменил внешность: [зимой надевал] форменный черный мундир с «золотыми» гербовыми пуговицами, летом – белый мундир с такими же пуговицами и двумя кокардами на фуражке. Мужичья походка исчезла. Но и в этой новой «коже» существо осталось то же. Это был милый, безобидный человек и очень старательный учитель. Уже при советской власти он ушел на пенсию, отработав в школе в общей сложности более 50 лет, и все время в одном селе.

Вот к нему-то в 1907 году в первый класс (или, как тогда называли – отделение) меня привел старший мой брат, учившийся у него уже три года. Классная комната была всего одна, довольно большая, в ней размещались все три отделения: первое, второе и третье. Парты были длинные – на десять человек ребят. Тем не менее, обстановка для меня была необычно новой: на стене висели часы-ходики в деревянном корпусе с большим маятником и двумя «гирями»-цилиндрами на медных цепочках. Часы всякий раз звучно отзванивали время. Этого я [прежде] никогда не видел и не слышал.

В одном из углов пристроена была большая икона: три человека ... прибиты гвоздями на крестах, с раскинутыми руками. Одного из них, среднего, я уже знал, видел на медном кресте, который поп предлагал целовать во время пасхального обхода домов с иконами. Бабка Пелагея меня на этот счет подробно информировала: «Это, сударик, Спаситель Господь наш Иисус Христос». А вот так – троих вместе – видеть не приходилось. Ниже – другая икона: седой старик с кругловатой бородой, с острыми злыми

глазами. Позже я, конечно, узнал, что это Николай Чудотворец. Перед ними висела большая лампада, которую зажигали утром перед молитвой, с которой начинался учебный день. Это было очень интересно. Все стены комнаты были завешены картинами, как потом я узнал, из священной истории, начиная от изгнания из рая Адамы и Евы и кончая сошествием Святого Духа на апостолов. У стены стояла большая черная доска, около нее – небольшой шкафчик для учебников, тетрадей, карандашей. В этой обстановке я воспитывался около 4-х лет.

Пришел я в школу уже подготовленный братом: я умел читать, считать, кое-как «ковырять» некоторые буквы, но самое главное – я любил рисовать. Заразил меня этой страстью полуграмотный деревенский паренек Мишка Греков, которого отец несколько раз нанимал весной помогать пахать (сам он занят был артельными делами). Мишка с моим старшим братом 10–11 лет проводил всю «посевную кампанию», самому ему было лет 14–15. Так вот этот самый Мишка вечерами дома садился со мной за стол, брал бумагу, карандаш и начинал рисовать человека. Я поражался: у него получались глаза, нос – как настоящие. А то нарисует коня, с такой крутой изогнутой шеей, а на коне – всадник, да еще с пикой или шашкой в руке. Изумление! С тех пор каждый день и вечер я старательно подражал в «живописи» чародею Мишке.

Так осталась [со мной] на всю жизнь эта благодатная «зараза». В дальнейшем она была ... усилена двумя моими товарищами, и я овладел этим «искусством» настолько, что мог писать с натуры, копировать – карандашом, акварелью, маслом. «Балуюсь» этим до сих пор. Трудно выразить, как же мне пригодилось впоследствии это «художество»!

Учиться в школе мне было легко. Учили писать, читать, арифметике, закону Божию, церковно-славянскому языку. И только. Никак не могу думать, что наш мужичок-учитель Осип Прохорович был особенно искушен в методике и педагогике обучения, но все [его ученики] читали, писали, знали арифметику, а особенно закон Божий и славянский язык. По этому

[последнему] «предмету» все дело сводилось к навыку беглого чтения: понимать и переводить прочитанное – по возможности и не обязательно.

На третьем году учебы я настолько овладел техникой чтения на церковно-славянском языке, что Осип Прохорович однажды, во время очередного визита попа в школу, представил меня ему и сказал, что хочет попробовать дать мне читать в церкви «шестопсалмие» и «часы». Поп охотно одобрил эту затею, очень хвалил меня. С тех пор я каждую службу читал на клиросе и «часы», и «шестопсалмие». И вообще учитель стал использовать меня своим «помощником» в школе: лампаду зажечь у икон перед молитвой, карандаши и тетради раздать ученикам, провести диктант и даже спросить приготовленные уроки первоклассниками и второклассниками.

Я был горд и доволен собой. Мать и бабу Пелагею мое участие в церковных службах умиляло до слез. Конечно, все это очень влияло на мою психику, и я рос очень религиозным малым. По совету все той же бабки Пелагеи и матери я каждое утро рано вставал, зажигал лампадку перед иконами и молился, читая наизусть весь запас молитв, накопленный за это время. Отец относился к моему «подвижничеству» иронически. И когда на пашне в постные дни (среду или пятницу) варили пшенную кашу с маслом и суп с мясом, а я отказывался их есть и пробивался чайком, отец добродушно смеялся надо мной и всякий раз повторял: «Вот подожди, поучишься больше (а учиться ты будешь), – смеяться потом будешь над самим собой и своими чудачествами». Предсказания отца вскоре сбылись.

Весной 1911 года стало известно у нас в школе, что у нас будут выпускные экзамены – впервые за все время существования школы. Стали готовиться. Прохорович переволновался настолько, что перестал напиваться. Мы ждали с тревогой и любопытством. Не знаю, установлена ли была такая формальность, или это изобретение нашего учителя, но только в один из дней он торжественно заявил нам, что мы должны написать прошения в экзаменационную комиссию о допусшении к экзаменам. И красиво, каллиграфически он написал на доске текст «прошения», а мы так же

старательно и по возможности красиво переписали:

«В экзаменационную комиссию при Сидоровской церковно-приходской школе.

Сына крестьянина села Сидоровского, той же волости (такого-то)

П Р О Ш Е Н И Е.

Прошу экзаменационную комиссию подвергнуть меня испытанию в знании курса одноклассной церковно-приходской школы.

(Подпись)».

Эти три десятка слов располагались на целом полулисте доброй бумаги (№ 6). На такой бумаге писались прошения только высоко начальствующим лицам.

В середине мая приехала экзаменационная комиссия. Два чужих попа и учитель из с. Вознесенского, некто Пушной, который впоследствии стал попом. Учитель сиял форменным мундиром и был самой яркой фигурой на всем сереньком фоне нашей обстановки. Одного из приехавших попов называли почтительно «отец благочинный», но он, сухой и морщинистый, ничем не отличался от остальных попов. Присутствовал и наш поп. На следующий день начались экзамены. Длились они всего часа два-три. Экзаменуемых было человек двенадцать.

По русскому языку спрашивали по учебнику Некрасова, ч[асть] 1-я «Курса правописания», писали предложения на доске, разбирали. По арифметике – решали задачки на доске, из учебника Цветкова, на все четыре действия. По закону Божию особенно много надо было знать: надо было рассказать эпизод из священной истории Ветхого или Нового Завета (мне, помню, пришлось рассказывать о «чуде» в Кане Галилейской, где Христос без всяких приспособлений и компонентов превратил обыкновенную воду в прекрасное вино, [которое] гости пили и восторгались, а хозяин пиршества ликовал); нужно было прочитать наизусть по заданию один или два члена

символа веры (первый член или четвертый, пятый или восьмой, шестой или двенадцатый), а их всего 12; то же самое – из заповедей Господних, а их 10; надо было легко различать, какая молитва называется Господней и почему («Отче наш...»), какая – начальной, какая полагалась [для прочтения] перед обедом, после обеда, перед ученьем и после ученья, утренняя и на «сон грядущий»; и, конечно же, надо было прочесть отрывок из Евангелия на церковно-славянском языке.

Сейчас, в свете современных дискуссий о нагрузках и перегрузках школьника, поражаюсь: как могла головка 11-летнего ребенка запомнить, воспринять и удержать в памяти всю эту «господнюю» дребедень! А ведь помнили, и отвечали так, что «только от зубов отскакивало». Каким же педагогическим и методическим мастерством должен был обладать наш полуграмотный учитель, мужичок Осип Прохорович!?

Экзамены все выдержали, четверо из нас – «похвально», т. е. отлично. Учитель наш ликовал, никогда еще не блестела так ярко его увлажненная потом лысина. Нам объявили, что вышлют каждому «свидетельство» об окончании школы, а отличившимся – награды: полный экземпляр в изящном переплете святого Евангелия. Тут же в классной комнате попы отслужили «благодарственный» молебен. И как усердно, истово молился наш счастливый Осип Прохорович!

Итак, прощай навсегда сельская церковно-приходская школа, скромное, почти убогое деревянное зданьице около церкви. И никто тогда не знал, да и знать не хотел – ни попы в черных рясах, ни скромный наш наставник, ни мы сами – куда поведут дороги нас от церковной сторожки, именуемой школой.

В семье у нас все были рады, особенно отец, – ведь небывалое дело! Первый школьный экзамен во всем нашем крестьянском роду! Как же много надежд связывалось с этим событием! В тот же вечер мы с отцом уехали на пашню, где уже начался сев.

[...]

Да, пашня, пашня! С этим связано с раннего детства раздолье седовласых

ковылистых полей с редкими березовыми околочками, небольшими весенними озерками; с туманными ранними утрами, начинающими трудовой день; с поздними вечерами, кончающими крестьянский рабочий день, и тоже – иногда туманными и прохладными, чаще – теплыми и обильно звездными, у костра, с запахами не всегда обильного, но всегда вкусного полевого ужина. И еще с ней, с пашней, связан навсегда труд крестьянский огромный, многообразный и тяжкий, которому нет равного, не было и не будет! Да, пашня! Вот настоящая трудовая и политехническая школа нашего крестьянского поколения, которой не было равных, нет и не будет. [...]

Отец уже намечал планы на ближайшее будущее. Было решено, что с окончанием полевых работ осенью он повезет меня в двухклассную школу в с. Романово – в тридцати верстах от Сидорки.

[...]

В августе я получил «свидетельство» об окончании школы и награду: Евангелие в черном изящном переплете, в котором на половине страницы – по вертикали – располагался текст на церковно-славянском языке, а на второй половине – на русском.

Приближалась осень. Возникал вопрос об отправке меня в с. Романово в 2-классную шк[олу]. Отец поручил матери заняться подготовкой к моей поездке: сделать матрасик, одеяльце, подушечку, [собрать] три пары белья. Мать была категорически против: ведь надо за квартиру платить, а чем? И своих продуктов нет. А главное – «ребенка у чужих людей вши заедят, с голоду пропадет». Кто его обмоет, обстирает? Доводы приводились всё обильнее, убийственно убедительные. Мне очень было жаль ее, казалось, что она права во всем, плачет дни и ночи. А ехать все-таки хотелось. И мать, глубоко страдая, продолжала готовить меня к отправке.

В начале октября настал день отправки. Накануне этого дня мать уже не плакала, а только все «наказывала»: «Если захвораешь – напиши письмо, ты же теперь сможешь, или с кем-нибудь накажи; не заводи вшей, мойся чаще, молись Богу», – и всё в этом роде. Рано утром в день отъезда она надела мне

на шею маленький медный крестик на красной шелковой ленточке и сказала: «Береги, никогда не снимай! Знаешь, материно благословение со дна моря вынимает». Этим она, очевидно, себя успокоила, крепко уверенная в силе своего благословения. Отец запряг Рыжку в ходок, положил в коробок сена, завернул меня в старенький тулуп и повез меня учиться в «чужую» деревню, к «чужим» людям.

[...]

Институт истории СО РАН, сектор истории культуры, коллекция воспоминаний, п. 118, л. 2–11, 14–22 (отд. паг.). Машинописный подлинник. На л. 41 подпись машинописью – «Останин Ф. Д. (инженер-строитель)», домашний адрес в г. Алма-Ате и дата – «24-IV-[19]72 г.».

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. *Зверев В. А.* Дети – отцам замена: воспроизводство сельского населения Сибири (1861–1917 гг.) / В. А. Зверев. – Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1993. – 244 с.

2. *Зверев В. А.* Деревенская кооперация и взаимопомощь на Алтае в начале XX в.: (из воспоминаний Ф. Д. Останина) / В. А. Зверев // Образ Сибири в общественном сознании россиян XVIII – начала XXI в. – Новосибирск: НГПУ, 2006. – С. 246–255.

3. *Зверев В. А.* Начальная школа на Алтае в начале XX в. (по воспоминаниям Ф. Д. Останина) / В. А. Зверев, К. Е. Зверева // Сибирский педагогический журнал. – 2004. – № 3. – С. 119–126. (Публикация повторена редакцией: Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 2. – С. 192–199.)

4. *Зверева К. Е.* Развитие потребности в просвещении у крестьянства Сибири (1861–1917 гг.) / Зверева К. Е. // Культурный, образовательный и духовный потенциал Сибири (середина XIX – XX в.). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. – С. 56–73.

5. *Кон И. С.* Ребенок и общество: учеб. пособие / И. С. Кон. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 336 с.

6. Красен человек учением: материалы о воспитании и образовании детей в селениях Сибири (конец XIX – начало XX в.) / сост., предисл., примеч. К. Е. Зверевой, В. А. Зверева; отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1995. – 116 с.

7. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1983. – 400 с. – (История крестьянства Сибири).

8. *Ноздрин Г. А.* Представления крестьян Сибири в начале XX в. о реорганизации образования в стране / Г. А. Ноздрин // Культурный, образовательный и духовный потенциал Сибири (середина XIX – XX в.). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. – С. 74–91.

9. *Останин Ф. Д.* Светлые дни в учительской семинарии / Ф. Д. Останин // Сибирская горница: журнал для семейного чтения. – 2003. – № 4. – С. 59–81.

10. *Останин Ф. Д.* Учеба учителей / Ф. Д. Останин // Школа и учительство в Сибири, 20-е – начало 30-х гг.: материалы по истории культуры и интеллигенции советской Сибири. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. – С. 36–59.

11. *Пыстина Л. И.* Новониколаевск, год 1916-й: воспоминания Ф. Д. Останина о Новониколаевской учительской семинарии / Л. И. Пыстина // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. «Культура, наука, образование». – 2002. – № 3. – С. 104–109.

12. *Ростовцев И. Г.* На краю света: записки очевидца / И. Г. Ростовцев. М.: Современник, 1985. – 686 с. – (Память).

13. [*Скалозубов Н. Л.*] Речь Н. Л. Скалозубова при открытии низшей сельскохозяйственной школы в д. Соколовка Тобольского уезда // Школа Тобольской губернии в XVIII – начале XX в.: хрестоматия. – Тюмень: Вектор Бук, 2001. – Т. 1. – С. 146–148.

14. *Титов С. П.* Два детства / С. П. Титов. – М.: Сов. Россия, 1965. – 169 с.
15. Традиционная педагогика: учебная программа, хрестоматия и практикум / авт.-сост. и отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск: НГПУ, 2005. – 120 с.
16. *Чукмалдин Н. М.* Записки о моей жизни / Н. М. Чукмалдин. – М.: Типолитограф. А. В. Васильева и К°, 1902. – 197 с.
17. Школа в социокультурном пространстве села Новосибирской области: история и современность: сб. материалов / ред. коллегия: З. П. Горьковская, К. Е. Зверева, Л. В. Котович и др. – Новосибирск: НГПУ, 2007. – 96 с.